

ды. После войны, как мы скоро увидим, он вернулся к этой теме. В дни, когда он дописывал «Размышления аполитичного», становилось все более очевидным, что его туманная мечта о расцвете старобюргерской культуры под сенью облагороженного «самовластия» терпит полный крах. Европа вступила в пору революций, — писателю было нелегко осознать эту новую реальность и с нею освоиться. Так или иначе, он в финале своей книги снова высказал свои дружеские чувства к русскому народу. «Мир с Россией! Мир прежде всего с ней!»

20-Е ГОДЫ.
СТАТЬИ О РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ.
«ВОЛШЕБНАЯ ГОРА»

Всматриваясь, вдумываясь в немецкую политическую действительность, Томас Манн в первые же годы после окончания войны сумел многое увидеть по-новому. Его возмущали реакционные террористы, которые пытались вернуть Германию на самоубийственный путь милитаристских авантюр. Для него становилось все более очевидным, насколько опасна для Германии идеология шовинизма, националистической исключительности. В речи «О немецкой республике» (1922) Томас Манн осудил尼цшеанские идеи «белокурого бестиализма», связанный с ними культ насилия и жестокости; он с мужественной честностью признал, что своими писаниями военного времени он, быть может, сам того не желая, дал «духовное оружие» реакционерам. Все яснее становилось ему, что в послевоенном мире произошли необратимые перемены, и что долг интеллигентов, деятелей культуры — не укрываться под сенью обманчивой «аполитичности», а отставать идеи гуманизма и демократии.

Торжество пролетарской революции в России, рост революционного, коммунистического движения во всем мире — все это были факты, с которыми Т. Манн не мог не считаться. От идей коммунизма он был и оставался крайне далек, но проявлял симпатию к Советской стране. В 1923 г. в Германии возникло «Общество друзей новой России», и Томас Манн вошел в правление этой органи-

зации. Ему хотелось как писателю помочь развитию культурных связей между обеими странами.

В статьях о русской литературе, написанных Томасом Манном в начале 20-х годов, отразилась сложность его идейных поисков. Сам он откровенно признавался, что главными силами, которые формировали его личность с молодых лет, были, с одной стороны, Ницше, а с другой — «русский дух». И даже после того, как писатель отмежевался от ницшеанского аморализма и воинственности, в нем продолжало жить тяготение к идеалистическим философским учениям XX в., к иррациональному, «мифическому». В этой связи понятно, почему Томаса Манна, еще в молодые его годы, сильно заинтересовал один из столпов русского декаданса, философ и критик Д. Мережковский и почему интерес к сочинениям этого критика долго у него сохранялся. В изощренных мистических спекуляциях Мережковского молодой Томас Манн увидел оригинальное проявление «русского духа». Немаловажно и то, что это был почти единственный русский литературный критик, сочинения которого еще в начале XX в. широко переводились на иностранные языки. К этим сочинениям с доверием обращались западные читатели, желавшие пополнить свои знания по русской литературе.

Правда, сразу же после мировой войны у Томаса Манна началась критическая переоценка Мережковского. В начале 1919 г. он прочитал сборник статей этого автора, включавший такие откровенно реакционные его вещи, как «Грядущий хам». И он написал переводчику А. Элиасбергу: «Нё могу сказать, чтобы книга Мережковского подействовала на меня благотворно. Это, на свой лад, такой же дурной продукт войны, как и другие в подобном роде...»

В таких писаниях, замечал Т. Манн, чувствуется «грубость, болезненность и бред...»

Томас Манн и в своих работах послевоенных лет не раз ссылался на Мережковского, как на знатока русской литературы, кое в чем прислушивался к его суждениям — и все же, в конкретных оценках и конкретном анализе произведений русских писателей шел своим собственным путем.

Характерный пример тому — его статья «Русская антология» (1921) — предисловие к сборнику русской прозы и поэзии.

Томас Манн уважительно упоминает здесь и Ницше, и Мережковского; он, казалось бы, без возражений принимает тезис русского философа-иррационалиста, согласно которому вся классическая русская литература выросла на религиозной основе. Однако в ходе разговора о писателях и книгах религиозно-мистическая тема оттесняется и сходит на нет. В статье рассыпано много метких характеристик, наблюдений, оценок, которые принадлежат самому Томасу Манну и говорят о правдивости русской литературы, о ее жизнеутверждающей силе. Обозревая произведения русских писателей, которые — целиком или в отрывках — включены в сборник, Томас Манн восхищается «гомеровской мощью», с какой написан эпизод из второй части «Мертвых душ» (обед у Петуха), трагической гордостью лермонтовского Печорина, оригинальным мастерством, каким отмечен рассказ Лескова «Тупейный художник». Тургенев, говорит Томас Манн, — «создатель одного из самых совершенных произведений мировой литературы, я имею в виду «Отцы и дети»; в рассказе «Живые монстры», вошедшем в антологию, автора предисловия привлекает не только образ Лукерьи, но и «описание летнего утра в саду, чудесный пример сердечно-чувственного наслаждения природой и здорового, радостного жизнеощущения, которое в русской литературе так хорошо уживается с сочувствием страданию и смертным мукам...» Томас Манн не забывает сообщить своим читателям, что именно по его совету творчество «величайшего мастера эпохи», Толстого, представлено в антологии отрывком из «Хаджи-Мурата» (смерть солдата Авдеева), «характерным для могучей естественности его выразительных средств»; по его же совету в книгу включен рассказ Чехова «Мальчики» — «счастливейший образец русского комизма, исполненный жизненной свежести».

И немецкий писатель с добрым юмором завершает статью словами: «Вот он какой, этот сборник! Выходи же в свет, мой сборник, я дал тебе напутствие. И если даже я не сумел хорошо справиться со своим делом, — дело это само по себе хорошее. Ведь Россия и Германия должны все лучше узнавать друг друга. Они должны рука об руку идти в будущее».

По мере того как Томас Манн переходил от консервативной «apolитичности» к активной защите гуманизма и демократии, перед ним постепенно яснее раскры-

валась не только творческая и нравственная сила русской литературы, но и ее гражданственность, пафос общественного служения.

Эта новая для Томаса Манна тенденция сказалась в маленькой статье, напечатанной впервые в 1922 г. в предисловии к альбому «Портретная галерея русской литературы». «Вот проходят они, гении этой могучей, жизненно важной словесности, носители русской мысли, все как один — борцы и герои души, подвижники великой ответственности перед идеей человечества. Возможно ли перелистывать эти страницы иначе, как с благоговением и трепетом? Добавлю — с трепетом весьма личным, интимным. Ибо разве не стало наше отношение к этой многострадальной (и всегда исполненной юмора) сфере, ко всем этим богомольцам, ораторам, судьям, исповедникам, живописцам, богоискателям и сатирикам гораздо более интимным и братским с недавних пор, благодаря нашим собственным переживаниям и судьбам, благодаря тому, что я назвал нашей «республиканизацией» и что не связано прямо с формами государственности, — я имею в виду, благодаря тому, что и мы встали перед задачами, и на наши плечи легли тяготы, которые были еле под силу даже самым могучим из них? Почекнем же мужество и братское утешение из созерцания их человечьих лиц! Укрепим наши силы, глядя на могучий облик Толстого за работой!» Несколько строками дальше Томас Манн говорит о том, с каким волнением смотрит он на «бледное лицо Достоевского — лицо святого и каторжника...» Выход «Портретной галереи», пишет в заключение Т. Манн, — еще одна примета «содружества двух великих и многострадальных народов, перед которыми большая будущность».

Мы снова видим из этой небольшой статьи, как напряженно размышлял Томас Манн над перспективами отношений русского и немецкого народов. Он понимал, что опыт русских писателей, «подвижников великой ответственности перед идеей человечества», очень важен для немецкой интеллигенции, поставленной ходом истории перед необходимостью определить свой социальный долг, свое место в общественных битвах времени.

Занятия историей литературы, как и собственная писательская работа, теперь все более непосредственно связывались в сознании Томаса Манна с коренными социальными и моральными проблемами времени. В 1922 г.

он написал большой историко-литературный этюд «Гёте и Толстой» и поставил к нему подзаголовок «Фрагменты к проблеме гуманности». Сравнительная характеристика обоих классиков мировой литературы была для Томаса Манна поводом к тому, чтобы задуматься о наиболее совершенном типе человека.

Вместе с тем сопоставляя обоих классиков, русского и немецкого, устанавливая черты сходства между ними, Томас Манн еще раз напоминал читателю о давних, прочных связях и отчасти даже родстве, объединяющем немецкую и русскую культуры. Уже в силу этого его работа о Гёте и Толстом была, по объективной своей сути, выступлением против немецкого националистического высокомерия и исключительности, и даже, точнее, против германского фашизма, который в ту пору уже начал поднимать голову.

Гёте и Толстой — что, казалось бы, общего между ними? Автор «Войны и мира» задумывался над книгами Гёте. Т. Манн в подтверждение этому цитирует слова Толстого из дневника начала 60-х годов: «Читаю Гёте, и роятся мысли» (9, 584). И он начинает свой этюд кратким рассказом о Юлиусе Штетцере, безвестном учителе из Веймара: еще будучи юношей, он однажды с группой приятелей навестил старого Гёте и беседовал с ним, — а много лет спустя принимал у себя в классе гостя из России, графа Толстого, который, перед тем как открыть Яснополянскую школу, изучал постановку школьного обучения в странах Запада. Юлиус Штетцер, — быть может, единственный на свете человек, которому посчастливилось лично встретиться с обоими гениальными писателями. Они жили в разное время, в различных исторических условиях, и все же, как стремится показать Томас Манн, в их душевном складе, в их отношении к природе, к жизни, к собственному творчеству было немало общего. Как художники они тяготели к автобиографическому самораскрытию, и вместе с тем оба как мыслители были по своим склонностям педагогами, воспитателями, ставили в своих произведениях проблемы воспитания. И у них, напоминает Томас Манн, был общий духовный предок — Жан Жак Руссо, создатель «Исповеди» и «Эмиля».

Томас Манн в этом этюде главным образом говорит не о произведениях великих писателей, а о них самих, они его интересуют прежде всего складом своей лично-

сти. Гёте и Толстой изображены как люди идеально здоровые, оба они находились в состоянии гармонии с окружающей природой и поэтически воссоздавали полноту материального мира. В качестве контрастного фона к ним бегло обрисованы Шиллер и Достоевский, «дети духа», мастера искусства тревожного, внутренне дисгармоничного, проникнутого мотивами страдания и болезни. Какому типу человека — и типу художника — следует отдать предпочтение? Томас Манн намеренно уклоняется от ответа: «...никому не дано решить, какой же из двух типов избранных призван внести наивысший вклад в создание безмерно любимого образа совершеннейшей человечности» (9, 606). Ответ на этот вопрос все же косвенно дан, он подсказан уже тем, что Гёте и Толстой, а не Шиллер и Достоевский, являются героями этюда. Однако и Шиллер и Достоевский, каждый по-своему, обогатили мировую литературу именно потому, что, будучи сами художниками-страдальцами, умели чутко отзываться на людскую боль. И с другой стороны, и Гёте и Толстой, несмотря на их природную, стихийную жизнерадостность, не могли отвлечься от страданий человечества, возвышались над первозданной наивностью, свойственной «детям природы», преданно служили людям, иногда даже принося свое поэтическое творчество в жертву будничным, практическим задачам.

Очевидно стремление Томаса Манна опереться против реакционного варварства на наследие великих писателей прошлого: в этом смысле и Гёте и Толстой стоят у него рядом. Однако в заключительной части его этюда обнаруживается и еще одна злободневная его сторона. Преклоняясь перед гением Толстого-художника, Т. Манн отвергает педагогические взгляды Толстого как слишком радикальные: толстовская критика буржуазной цивилизации, особенно взгляды Толстого на воспитание, рассматривается Манном как опасная проповедь анархии. Уравновешенность Гёте ему более по душе. На всем протяжении этюда Гёте раскрывался главным образом в своем сходстве с Толстым, а под конец он в какой-то мере противопоставлялся русскому классику как носитель идей компромисса, политической умеренности, что соответствовало строю мыслей Томаса Манна в то время.

В самом замысле этюда обнаруживается известная противоречивость взглядов Т. Манна. Он ссылается на

Мережковского, который еще в начале века в своем труде «Толстой и Достоевский» развернул антитезу: Толстой — «яснови́дец плоти», Достоевский — «яснови́дец духа». Понятно, что эта концепция Мережковского заключала в себе несправедливый, принижающий взгляд на Толстого, была попыткой противопоставить Достоевского как подлинного христианина «язычнику» Толстому. Томас Манн не разделял реакционных политических взглядов Мережковского, однако его привлекла сама острота психологической антитезы, выдвинутой в книге «Толстой и Достоевский». Возможно даже, что именно эта книга подсказала Томасу Манну замысел — сопоставить Гёте и Толстого; как «детей природы», с Шиллером и Достоевским, как «детьми духа». Но в конкретной характеристике Толстого Томас Манн опирается не столько на Мережковского, сколько на Горького, обильно цитирует его очерк о Толстом. А для Горького Толстой — «человек человечества». Т. Манн приводит горьковские слова — «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней» (9, 549). Так подрывается схема Мережковского: Толстой раскрывается не только в своем стихийном жизнелюбии и связях с природой, но и в своей мудрости, силе души.

В этюде Томаса Манна местами причудливо перемешано верное и неверное, особенно там, где он касается темы «Толстой и революция». Мимоходом и очень категорически сказано, что Толстой был «пророком», возвестившим великий исторический переворот в своей стране. Но облик Октябрьской революции в ту пору рисовался Томасу Манну в туманных и смутных чертах, и он говорит о ней с оттенком недоумения и страха, противопоставляя русской революционной решимости немецкий «пафос середины».

Само намерение Т. Манна обязательно найти сходство (или, напротив, резко подчеркнуть несходство) между великими писателями, немецкими или русскими, неминуемо влекло за собой недомолвки и натяжки. Гёте и Толстой, как и Шиллер и Достоевский, далеко не всегда, не во всем поддаются сопоставлению. Психологический портрет каждого из великих писателей, о которых говорит Т. Манн, в той или иной мере неполон и неточен.

И все же — при всем спорном, что содержит этюд «Гёте и Толстой», — эта работа Томаса Манна имела,

особенно в условиях Германии начала двадцатых годов, большое прогрессивное значение. Это было прежде всего выступление в защиту гуманистических ценностей мировой культуры, которым начинала угрожать фашистская реакция.

В работах Томаса Манна о русской литературе всегда присутствует момент искания истины. Размышления над книгами русских писателей связывались для него с коренными проблемами искусства и жизни, с собственными насущными писательскими задачами. Отчасти именно поэтому Томас Манн в своих письмах, интервью, беседах двадцатых годов не раз сопоставлял Толстого и Достоевского, как бы пытаясь выяснить, каждый раз заново, у кого из них учиться? И чему именно учиться?

Летом 1920 г. Т. Манн получил от Стефана Цвейга его книгу о Достоевском и, выражая благодарность автору книги, делился с ним своими мыслями об обоих русских классиках. «Как вы понимаете, Толстой ближе моему идеалу эпического искусства... Толстой, ясновидец плоти, стоит в гомеровском ряду наших предков, а я, хрупкий человек модерна, испытываю к ним почтение, но в то же время, если можно так выразиться, и родственное чувство... В Достоевском я смог увидеть нечто иное, нежели совершенно необыкновенное, дикое, чудовищное и неимоверное явление, вне какой бы то ни было эпической традиции, — что не мешает мне признавать в нем, по сравнению с Толстым, гораздо более глубокого и опытного моралиста». В 1925 г. Томас Манн в интервью «Нойе рундшау» говорил: «Я не думаю, что Достоевский — воплощение России. Да, его образы — это подлинно русские типы, и, может быть, даже увидены и обрисованы с большим приближением к жизни, чем у Толстого. Но Толстой воплощает для меня русский дух». И, наконец, незадолго до гитлеровского переворота, 15 апреля 1932 г., Томас Манн писал чеху Б. Фучику, отвечая на его вопросы о своем отношении к славянским культурам: «В молодости я вобрал в себя многое из духовного и художественного мира русского Востока и не избежал огромного влияния, которое оказал Достоевский на всю Европу. Но и тут лично мне были ближе писатели, испытавшие влияние Запада, такие, как Толстой или Тургенев...»

Это последнее замечание можно оспорить: Достоевский испытал не меньшее влияние западной литературы,

чем Толстой или Тургенев. Но во всех этих признаниях Т. Манна любопытно другое. Выбор в пользу Толстого делался каждый раз — не безоговорочно, а в итоге размышлений, сопоставлений и каждый раз — с новыми оттенками. Нам понятна мысль Т. Манна о Достоевском как великом моралисте: в душевных муках, противоречиях, расколотости его героев Манн чувствовал тревожный нравственный сигнал о неблагополучии мира. Однако для Томаса Манна становилось все более очевидным, что именно Толстой с его могучим нравственным здоровьем — надежная опора в противостоянии антигуманистическим идеяным течениям, духовному и политическому обскурантизму, который принимал в додигитлевской Германии все более зловещие масштабы.

Статья, написанная Т. Манном в 1928 г. к столетию со дня рождения Толстого, кое в чем повторяет то, что было сказано в этюде «Гёте и Толстой». Но в ней есть и существенные новые мотивы. Главное в Толстом-художнике для Томаса Манна теперь — «несокрушимое здоровье, несокрушимый реализм» (9, 621); читать Толстого, учиться у него — значит «уберечься от всех искушений изощренности и нездоровой игры в искусстве» (9, 623).

«Анну Каренину» Томас Манн называет «величайшим социальным романом мировой литературы» (9, 624), признавая тем самым глубокий общественный смысл толстовского реализма. И впервые говорит Т. Манн с такой отчетливостью о долге художника перед народом, перед обществом: «Толстой угадывал, что наступает эпоха, когда искусство одного только воспевания жизни кажется уже недостаточно правдивым, и когда ведущей, определяющей, просветляющей силой становится дух, связавший себя общественными интересами, отдающий себя на служение обществу и призванный руководить творческим гением подобно тому, как нравственность и разум призваны направлять бездумно-прекрасное. Никогда ни единым помыслом не унизил он того великого, что было вложено в него природой, никогда не употреблял своих прав гения и «великого человека» на то, чтобы пробуждать в людях темное, первобытное, атавистическое, злое, но всегда с величайшей скромностью служил тому, что в его понимании было разумом и богом». В этом смысле, говорит Томас Манн, Толстой является «великим примером» для

писателей современности: он вдохновляет их на то, чтобы выполнять свой нравственный долг — «храня верность своему народу и служа ему, быть до конца честными в... стремлении к истине» (9, 626—627).

Движение мысли Томаса Манна в сторону демократии и социализма обостряло в нем творческий интерес и еще к одному великому русскому писателю — Горькому. Мы помним, что его очерк о Толстом широко цитируется в этюде «Гёте и Толстой». Но все же русский пролетарский писатель долго оставался чужд строю мыслей Томаса Манна. В его статье «Русская антология» имя Горького вовсе не названо, хотя в самой антологии, к которой было написано это вступление, помещен его рассказ «В степи». Видимо, в то время Томас Манн не вполне еще ясно определил свое отношение к Горькому и предпочел вовсе умолчать о нем. А несколько лет спустя, в 1928 г., Томас Манн откликнулся на 60-летие со дня рождения Алексея Максимовича приветственной статьей-письмом (русский перевод ее опубликован в сборнике «Переписка Горького с зарубежными литераторами»).

Горький, говорит здесь Т. Манн, — «носитель нравственного начала, орган общественной совести; он принадлежит тому духовному обществу Европы, члены которого, будучи в большинстве случаев не связанны между собою лично, давно нашли друг друга в высшей сфере, уже осуществляя в области духа то единство, за которое борется эта часть света; обществу национально и индивидуально резко дифференцированных личностей, голоса которых, однако, звучат в унисон, когда возникает необходимость выступить против несправедливости, некультурности, фальшивого порядка. Горький — русский социалист, марксист, убежденный коммунист, как я полагаю...» Однако далее Т. Манн высказывает суждение явно неверное. Он ссылается на рассказ «Кайн и Артем», когда-то им прочитанный. Этот рассказ, говорит он, был, видимо, написан Горьким под впечатлением Ницше; творчество Горького, по мнению Манна, «своего рода мост между Ницше и социализмом». Мы опять убеждаемся, что прощание с ницшеанскими идеями давалось Томасу Манну очень нелегко. Даже и после того, как он почувствовал опасности, заложенные в «белокуром бестиализме», он продолжал усматривать в философии

Ницше некую защиту прав одаренной личности. В этом свете воспринял он и ранний рассказ Горького.

Так или иначе Томас Манн прекрасно понимал, как велико значение Горького, авторитет его имени, в борьбе передовой интеллигенции Западной Европы против социальной несправедливости воинствующего фашистского бескультурья. И он закончил свое приветствие добрыми словами в адрес юбиляра и его страны. «Накануне 27 марта я присоединяю свои сердечные пожелания счастья к пожеланиям всех, кто любит Россию и чествует в лице Максима Горького одного из лучших ее сынов».

Идейные поиски Томаса Манна, сдвиги в его социальных и философских взглядах — все это отзывалось в одном из главных его художественных произведений, романе «Волшебная гора» (1924).

В «Волшебной горе» совсем немного событий: это роман интеллектуальных исканий. Весь интерес сюжета основан на движении идей, на взаимодействии мыслящих и спорящих «я». Пространные диалоги то и дело переходят в диспуты. В этом смысле «Волшебная гора» обнаруживает структурное сходство с «полифоническими» романами Достоевского.

Герой «Волшебной горы», молодой бургерский сын Ганс Касторп, живя в течение семи лет в высокогорном туберкулезном санатории «Берггоф», в условиях вынужденного бездействия начинает интенсивно думать, стремится самостоятельно ориентироваться в окружающем его мире. Выходец из старого купечества, выросший в атмосфере буржуазных нравов и традиций, превращается в интеллигента, правдоискателя. Ганс Касторп постепенно утверждает свою самостоятельность по отношению к двум старшим собеседникам, из которых каждый претендует по отношению к нему на роль наставника. Он отвергает реакционные, человеконенавистнические идеи иезуита Нафты и критически воспринимает наивно-прекраснодушную проповедь литератора Сеттембрини, у которого демократический пафос легко переходит в либеральное краснобайство.

Важный в романе персонаж — русская женщина Клавдия Шоша, которую Ганс Касторп любит робко и беззаветно. Ее образ дан не без примеси экзотики — в духе ходячих на Западе представлений о непостижимой «славянской душе». Своим властным и слегка зага-

дочным обаянием она может напомнить Грушеньку из «Братьев Карамазовых» или Полозову из тургеневских «Вешних вод». Романист вместе со своим героям любуется независимостью характера Клавдии, ее пренебрежением к мещанским нравам и приличиям. «В русских женщинах, в их натуре есть какая-то свобода, широта» (3, 190), — не без зависти говорит о Клавдии одна из обитательниц «Берггофа».

И все же Клавдия Шоша обрисована в смутном и двойственном свете. Ее вольнолюбие оборачивается эгоизмом. Многолетняя преданная любовь Ганса к ней завершается не только разлукой, но и разочарованием.

Исследователи творчества Томаса Манна находят в «Волшебной горе» немало эпизодов и мотивов, навеянных русской литературой. Однообразный застойный быт санатория «Берггоф», где время ничем не заполнено и потому течет до удивления быстро, где люди проводят годы в сонном ничегонеделании, может быть воспринят как вариация на тему «обломовщины». Вражда двух идейных антагонистов, Сеттембрини и Нафты, дойдя до предельного напряжения, побуждает их выйти на дуэль: эта ситуация (крайне редкостная в новейшей западной литературе), возможно, подсказана эпизодом из «Отцов и детей» или чеховским рассказом «Дуэль», который Т. Манн высоко ценил. Описание эпилептического припадка у пациента Попова явно восходит к памятным страницам Достоевского. Идеи его «Дневника писателя» по-своему преломились в образе мракобеса Нафты, который представлен в одно и то же время и католиком-иезуитом, и носителем псевдореволюционных экстремистских идей.

Но главное, что связывает «Волшебную гору» с русской литературой, — это пафос искания правды, атмосфера философских и нравственных раздумий. И вместе с тем принципиальная критика учений, в основе которых лежат идеи зла, смерти, распада.

Эта критика реализуется в романе не сразу и не в однозначной форме. Споры Сеттембрини и Нафты ведутся долго и с переменным успехом. Реакционер и демагог Нафта иной раз высказывает свои взгляды не без красноречия и не без остроумия; он пытается убедить Ганса, что гуманизму пришел конец, что человечество вступило в эпоху насилия и террора. И он уже коварно отождествляет понятия «дух» и «болезнь»: «...В духе,

в болезни заложено достоинство человека и его благородство; иными словами, в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек; гений болезни неизмеримо человечнее гения здоровья» (4, 173). Эти идеи, заимствованные из арсенала шопенгауэр-ницшеанской философии, не столь давно имели определенную притягательную силу и для самого Томаса Манна, он высовобождался из-под их власти с немалым трудом. И с тем большим трудом освобождается от них герой «Волшебной горы», Ганс Касторп. Честный, но бескрылый гуманизм Сеттембрини способен лишь слабо противостоять лукавой проповеди Нафты, предворяющей в некоторых чертах фашистскую идеологию. Однако философия, превозносящая гнилое и больное в людях, опровергается, развенчивается всем строем романа, выразительными картинами физического и духовного распада, благодаря которым болезнь и смерть лишаются в глазах Ганса Касторпа былого таинственного и завлекающего ореола. И, с другой стороны, самоубийство Нафты становится символическим выражением его морального банкротства.

В главе «Снег» Ганс Касторп, застигнутый метелью в горах, видит фантастические сны. Ему грезятся свободные, счастливые люди в прекрасной приморской стране. «И этот солнечный край, и эти легко доступные высокие берега, и эти веселые скалистые водоемы, так же как и само море, вплоть до островов, возле которых сновали лодки, все, все было полно людей; люди, дети солнца и моря, были повсюду, они двигались или отдыхали, разумно резвая, красивая молодая поросль человечества» (4, 209). Видения Ганса очень близки тем, какие описаны Достоевским в «Сне смешного человека» — даже выражение «дети солнца» прямо взято оттуда. И тут же Ганс видит и вторжение зла, насилия в эту счастливую жизнь — перед его глазами злые старухи пожирают новорожденного ребенка. Проснувшись, Ганс Касторп пытается осмыслить свой сон и более того подвести итог своим долгим раздумьям. Он понимает, как могущественна смерть. Однако, думает он, «верность смерти, верность прошлому — злоба, темное сладострастие и человеконенавистничество... *Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями*». Эти последние слова в тексте романа не спроста выделены курсивом: действие на этом не кон-

чено, Гансу еще суждено пробыть немало времени в санатории, но силы зла и смерти утратили господство над его мыслями, и утратили бесповоротно.

В финале Ганс — на фронте: началась первая мировая война. Роман кончается авторским вопросом: «А из этого всемирного пира смерти, из грозного пожарища войны, рождается ли из них когда-нибудь любовь?» (4, 528). Понятна нота сомнения, которая звучит в этих словах. Томас Манн знал, что человечеству суждено еще пройти через немало тяжелых испытаний, и до торжества всеобщей любви еще очень далеко. Но тут сама постановка вопроса знаменовала отказ от националистических и милитаристских идей, которые владели умом Томаса Манна во время первой мировой войны. «Волшебная гора», роман сложной философской проблематики, направлен по главной своей сути против реакционных сил в идеологии и политике стран Европы. Гуманизм русской литературы, глубоко воспринятый Томасом Манном, помог ему написать эту книгу.

БОРЬБА ПРОТИВ ФАШИЗМА. СТАТЬИ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ. «ДОКТОР ФАУСТУС»

Антифашистская тема в художественном творчестве Томаса Манна ведет свое начало от рассказа «Марио и волшебник», написанного еще до гитлеровского переворота, в 1930 г. Здесь показана в непримиримо сатирическом свете Италия Муссолини; действие завершается на резко протестующей ноте, — Марио, человек из народа, стреляет в фашиста-гипнотизера, унившего его достоинство.

Антифашистская идея живет во всех произведениях Томаса Манна, созданных им в эмиграции, в США, в годы гитлеровской диктатуры. Даже и там, где мир образов писателя, казалось бы, предельно далек от современности, ее забот и битв, скрытая, подспудная связь с современностью налицо.

Еще до того, как Томасу Манну пришлось покинуть Германию, он начал работать над циклом романов на